

В ночь с 27 на 28 января 1996 года в Нью-Йорке во сне от сердечного приступа скоропостижно скончался великий русский поэт Иосиф Бродский.

Меру личной трагедии его ухода каждый определит для себя сам и переживет индивидуально. Он не был объединяющей идеей, общепризнанным и любимым поэтом миллионов. И не стремился им быть — «одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество». Он был у каждого, но не у всех вместе. И все же есть та общая драма, которую придется пережить нам всем, сейчас живущим. Даже тем, кто вовсе не читал его стихов, не понимал поэзии вообще и не воспринимал ее в своей жизни как необходимость, не ощущал в ней потребности... То, что не стало на земле Иосифа Бродского... нет опыта понимания подобного события. Опыт этот не передается из поколения в поколения — такое случается раз в сто лет. Русский язык и русская культура дали своему народу столько больших поэтов, что нет надобности лишний раз говорить, что поэзия непрерывна, что от Пушкина до Бродского стоят великие фигуры, великие миры, великие слова. Но. Как Аполлон Григорьев сказал некогда о Пушкине: «Пушкин — это наше все», без уточнений... Спустя полторы сотни лет появился поэт, о котором можно было говорить то же самое: «Бродский — это наше все». Он является современным состоянием русского языка, он его инструмент — вот что можно выразить на этом языке, вот он каков — Русский язык. С его уходом мы все как бы стали прошлым. Прошедшим временем, «современниками Бродского». У нас нет будущего: в силу объективных причин второго пришествия мы не застанем, следующего Поэта, следующего состояния русского языка нам не будет дано узнать. Нам всем отныне придется осваивать категорию времени будущего в прошедшем.

Мера этой трагедии теряется в ничтожных словах, идущих с экрана ТВ, в тех банальностях — от «закатилось солнце русской поэзии» до «на Васильевский остров я приду умирать», так почему же не вернулся в Россию, в Санкт-Петербург. Как будто не писал он всем нам «ниоткуда с любовью», не объяснял, что «есть города, в которые нет возврата. Солнце бьет в их окна, как в гладкие зеркала». Как будто вообще эти частности — ссылка, эмиграция, Нобелевская премия — сейчас как-то обозначают меру поэта Иосифа Бродского. И меру нашей потери. («...Только размер потери и делает смертного равным Богу»). Он сказал еще за два года до этого: «Ужасно быть русским автором. Поскольку я продукт вот того времени, когда к тебе никакого хамства — ну кроме уголовных обвинений, — тебя ничего не касалось, тебя не обсуждали, ты мог быть человеком, ты мог существовать. Интеллектуально тебя ничто не раздражало. А сейчас возникает такая ситуация, то, что следует считать нормальным литературным процессом... ну то, что происходит — пошлости, банальности, частности...»

Как хочется, чтобы звучал ЕГО голос. Хочется о том, что произошло, говорить с ним самим. То, что вы будете читать сейчас, — фрагменты беседы с Иосифом Бродским, состоявшейся ровно два года назад, накануне операции, о которой врачи говорили, что она в любом случае будет последней и которую он отложил. Тогда, 29 января 1994 года, он говорил, что ему интересна собственная искренность или неискренность, с которой он отвечает на вопросы, предполагая, что может стать на это делает в последний раз. Публиковать эти материалы все это время я не могла из суеверного страха: вдруг опубликую, и вправду беседа окажется последней, и произойдет то, что произошло сейчас, и нет сил произнести. Как хочется, чтобы звучал его голос.

Мария ПАСТУХОВА

«Человек есть конец самого себя и вдается во Время»

Время — самая интересная вещь, самая обширная. То есть я не думаю, что существует пространство и время — это только время. Вы спрашиваете меня о мире присутствия и мире отсутствия... Что касается отсутствия... ну как вам сказать? С точки зрения времени вообще всего этого нет. То есть нет нас с вами об этом говорящих. То есть, если представлять себе время как некую субстанцию, то, видимо, где-то мы в нем существуем, но реальность этого чрезвычайно незначительна, если принять во внимание объем этой субстанции.

Я вам сейчас скажу насчет отстраненности сознания. Грубо говоря, это, наверно, самое полезное, что я могу вам сказать сегодня и вообще. Восток и Запад. Главная характеристика западника — это рациональное, главным героем западного мира является он сам. Настаивание на своем «я». И существует восточная, вернее, дальневосточная, вещь, у которой совсем другая система, а именно — самоотрицание. Короче говоря, Будда. И поэтому он никак не настаивает на своем существовании. Чем хороша изящная словесность — во всех остальных областях поведения и деятельности своей человек ассоциируется с той или другой системой — в процессе сочинительства индивидум пользуется средствами и анализа, и интуиции. То есть он в некотором роде ведет себя совершенно естественно одновременно и там и там. В этом смысле стихотворец — наиболее естественное существо человеческого вида. И в этом смысле, если он начинает о чем либо размышлять, возникает такого рода отстраненность ото всего и вся в конечном счете. И ни с какой докториной он себя в конечном счете не вяжет, потому что любая доктрина ограничительна. Потому что чисто метафизический потенциал у человека гораздо выше, чем то, что ему любая религия может предложить. («Бог органичен. Да. А человек? А человек, должно быть, ограничен»).

Философский поэт? Я просто читателя хочу сделать большим метафизиком. Я для того за это и взялся, если хотите, если у меня были какие-то серьезные поползновения, то я хотел просто, чтобы читатель, чтобы русский человек отдавал бы больше категорий. То, что я вам изложил, это можно до известной степени назвать философией. А поэт? Это, знаете, на что похоже? Это постоянно расширяющийся радиус, такая центробежная вещь. Но гораздо лучше взглянуть на это как на неизвестную и неопisanную дотолу форму органики. Вы сочиняете не потому, что у вас какое-то лирическое ощущение, вы в полном восторге от происходящего или, наоборот, в полном дерьме, вы сочиняете не потому, что вам хочется выразить что-то свое, грубо говоря, ретивое. Вы сочиняете потому, что к вам где-то подобралась тональность.

И постольку, поскольку вы даже уже профессионал в этом деле, вы начинаете прикидывать и взвешивать, интересная ли это тональность и новенькая ли, и можно ли в ней что-то сделать, чего раньше сделано не было. Иногда она вам кажется слишком лирической, да? И вы стараетесь заглушить — не то, чтобы вы наступаете на горло собственной песне, — вы наступаете на горло своей собственной пошлости или вообще человечности. Я стараюсь увести стихотворение в монотонность,



нежели в контральто. Потому что, я думаю, что время, если у него есть голос, то он — монотонный. Я когда-то прочитал стихотворение на английском в шесть строк, там было: в течение своей жизни старайся уподобляться времени, не повышай голос, не слишком понижай, не будь истеричным и слишком громким, но если тебе этого не удастся, если будешь сбиваться на фальцет, тоже особенно не горюй об этом, потому что, когда ты умрешь, ты уподобишься времени. То есть я не хочу сказать, что при жизни старайся быть похожим на смерть — нет, но жизнь должна быть похожа на Время. Так мне нравится. Почему? Убей меня бог, не знаю.

Существуют ли для меня противопоставления: жизнь — смерть, добро — зло, война — мир? Вы знаете, добро и зло, безусловно, существуют. С этим ничего не поделаешь. Война и мир — до известной степени. Жизнь и смерть? Органически — да. Умозрительно — не очень. При определенной интеллектуальной температуре эти вещи более или менее тождественны. Поскольку все на свете, в том числе страх смерти, зависит от индивидуального опыта возникает взгляд на смерть как на перспективу, а не предмет ужаса. Все эти вещи становятся элементами трагического ощущения, так же, как жизнь, да? Я думаю, что именно здесь они начинают приходиться в равновесие, если не в состояние равенства. Вот ответ на ваш вопрос. Толково, по-моему, да?

После конца? После конца всего, веры, любви, вообще?

Самое главное в изящной словесности — это способность индивида сделать следующий ход тогда, когда уже все исчерпано, да? Да? Не останетесь тогда. Русская поэзия очень часто пишет стихотворение и ста-

рается его кончить эффектным образом. Да? Вот вам Борис Леонидович Пастернак: «Жизнь прожить — не поле перейти» — и кончается стихотворение. Вот здесь оно и должно начинаться, понимаете? То есть это трудно объяснить, это чисто профессиональное рассуждение, нужно всегда уметь быть способным на постскриптум. То есть вот как-то залось бы, все восклицательные знаки, уже все кончено, и вот тут вы начинаете бубнить, даже нечленораздельно, вот тут начинается стихотворение. В этом крупный поэт — то есть я не про себя говорю, хотя, в общем, если хотите, уже и про себя. Вот это то, чему я у них научился, — делать этот следующий шаг, которого как бы и не должно быть, и лестницы-то нет, и поверхности нет — высовывать ногу в пространство.

Выход за пределы самого себя?

Стихотворец подобен... его можно сравнить с космическим аппаратом. Вот его запускают... и он преодолевает некоторое тяготение и оказывается в этом самом космосе. И некоторое время он еще принимает сигналы, но постепенно чувствует, как все это ослабевает. Зов ослабевает. Возникает ощущение свободы, но одновременно возникает ощущение другого тяготения, тяготения вовне. И вернуться уже нельзя. И это положение можно определить в зависимости от темперамента как трагическое или трагикомическое, если хотите, или как-то, вот как обстоят дела... Ты все время от чего-то отделяешься. От этого, от этого, от самого себя и так далее. Может быть, на это можно взглянуть несколько иначе — что всякое движение вовне или от — это увеличение перспективы, и вот взгляд из этой перспективы и интересен. Это свидетельствует о том, как далеко человек может уйти. Я помню сочинил стихотворение, оно называлось «Разговор с Небожителем». И там было такое место: «и человек есть испытатель боли, но то ли свой ему неведом, то ли ее предел». То есть на самом деле вы испытываете не столько свою степень выносить все это, а степень этого длиться. И в этом смысле вы инструмент. И при этом ощущение полной неправомочности своего существования. Но это и правда, на самом деле оправдать существование человеческого очень, может быть, трудно...

Мы все практики языка — мы все его орудия, мы то, за счет чего язык существует. И ужасно интересно, когда вы читаете поэта, и вдруг вы сталкиваетесь с выражением, с комбинацией слов (прилагательное-существительное), которой вы раньше не встречали, и которое дает вам совершенно новое мироощущение. И тут вы понимаете, что происходит, — это дикция, если угодно, будущего. Будущее тут вторгается в настоящее, и поэт вы цените — один из возможных критериев — по высоте процента этих вторжений.